



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Александр БАЛТИН

СЛОВО ПОБЕДЫ

1

Маленькому что ж плакать?

Ведь не ранен — просто убит, просто и страшно: включается будто видимость запредельности, вовлекающая в бушующую бездну кошмара, включается просто и страшно, беря души читательских поколений:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони ты, мой маленький.
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Советские военные проза и поэзия обширны чрезвычайно, но краткое восьмистишие Иона Дегена столь сгущено, так сильно бьет в бубен сознания, что остается удивиться невероятной силе чувств, заложенной в кратком выстреле строк.

Из «Окопов Сталинграда» выходили другие представители военного литературного поколения, познавшего то, что последующим узнать только читая (и слава богу); окопы Некрасова сложились необыкновенной речевой ясностью, сухой деловитостью

Александр Львович Балтин родился в Москве в 1967 году. Поэт, прозаик, литературный критик. Автор 85 книг (включая Собрание сочинений в пяти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Испании, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

военных буден и... своеобразным романтизмом, не войны, конечно, но — нам надо выжить!

Не просто выжить — победить: тогда мы станем бессмертны...

Взлетала красная ракета Окуджавы, и солдаты, вставшие в окопы, воспринимались... почти сакральной правдой.

Красная ракета взлетала: а много лет спустя Юрий Левитанский, выдохнув: «Я не участвую в войне, война участвует во мне...», словно выразил общий градус миро-восприятия ветеранов, выразил с такой мощью, которая не опровергнется никакими временами.

Страх ломался: страх давился, как негожая эмоция: которую нельзя допустить в сердце, иначе...

И били в колокол необыкновенные строки Друниной, будто и героизма никакого не было, была его повседневность:

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Пехота Михаила Кульчицкого, черная от пота, скользила так, что альфа войны раскрывалась метафизически:

Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.

«Горячий снег» Бондарева закигался кровью и преодолением себя всегда, каждый день: выживешь — значит вырастешь духовно, любые известия дальше сможешь принимать с усмешкой: мол, все не беда...

У Василя Быкова выбор, делаясь основой повестей, становился и чудовищной эсхатологической альфой военного пути, и «Сотников» жестко, наждачно обрабатывал сознания читающего, самому читателю предлагая понять, где свет...

Рвались, но и представляли гармонизированно ритмы Николая Старшинова...

Твердая правда Твардовского достигла солевой кульминации в образе Теркина; и солдаты, учившие куски из поэмы наизусть, проживали такой же жизнью, ходя рядом со смертью, постоянно уча ее трактаты и — выживая, выживая...

Вспыхивали болью пройденного дороги Смоленщины...

Необъятна она — литература о Великой войне; тут не континент даже — космос, и величие его лучами входит в наши дни, омраченные предельными эгоизмом и прагматизмом, входит, осветляя реальность памятью, которая не дает окончательно пасть в бездны пустого потребления...

2

Разные Гамлеты были обрушены в мир — начиная от классического бесконечно умирающего и воскресающего принца до бессчетных истолкований образа оно; в во-

енном стихотворение Евгения Винокурова сходятся своеобразно: Гамлет подмостков, война, заставляющая ежедневно делать жесткий выбор, игра в Гамлета; они сходятся в сложном космосе, представленном предельно просто:

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал.

А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем как о сознательном бойце!
Он был степенный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.

Сквозной лирический напор, присущий поэтической манере Винокурова, словно прокалывает воздух, тот, военный — ради тайны вечного, когда и на фронте, среди увеличенного ежедневного присутствия смерти, нужда в Гамлете не уменьшается...

Как интересно совмещает поэт предметность мира, существительные ставя с такой точностью, что можно взять в руку предмет, и: ощущения, кострами прожигающие душу:

Сердца замрут, и задрожат бинокли...
У тех — и страсть, и сила, и игра!
Но с нашим вместе мерзли мы и мокли
И запросто сидели у костра.

Гамлет со сцены сходит в жизнь, продолжать войну...

Вспыхивает своеобразие свечи: образ будущего огня синевато-прозрачными смыслами духовного воздуха прорастает сквозь книжные страницы, поглощаемые... представителями русских мальчиков, от которых не осталось теперь ничего:

Где книжные манящие развалы,
где в тесноте лишь боком можно стать,
мы, книжники,
 юнцы,
 провинциалы,
поэмы будем выпренне читать.

Речь — и прекраснодушие, а ныне отмахнулись от прекрасных душ: и сама-то не пойми, что такое...

Но Винокуров жил во времена, когда поэзия воспринималась... чуть ли не сакральным явлением яви: ведь Советский Союз был вполне религиозной страной, просто с иным вектором веры-горения.

Страшно грохнет военный взрыв, и станет жутко гирлянды лет спустя, когда соприкоснешься с космосом такого стихотворения:

Взрыв. И наземь. Навзничь. Руки врозь. И
Он привстал на колени, губы грызя.
И размазал по лицу не слезы,
А вытекшие глаза.

Стало страшно. Согнувшийся вполювину,
Я его взвалил на бок.
Я его, выпачканного в глине,
До деревни едва доволок.

Вектор правды чрезвычайный, как опыт войны, с ветеранами уходящий все дальше и дальше в бездны колышущегося времени.

Винокуров мастерски писал людей, черпая образы — из плазмы бытия:

Две грузчицы уселись в перерыв.
Глядят друг в друга, упершись локтями,
Консервов банку не спеша открыв,
Батон нарезав толстыми ломтями.

Нежная напевная печаль порой перевивает строки:

Дым в окно врывается
Хлопьями белесыми,
Поезд в ночь врзается
Острыми колесами.

Буфера качаются,
Звонко бьются блюдцами...
Милая, печальная,
Где ты? Не вернуться ли?

Многое вмещал из разнообразных ворохов мира в пределы собственной поэзии Винокуров, многое...

И вновь и вновь выходил на импровизированную сцену ефрейтор, играющий Гамлета, чтобы, произнеся знаменитые монологи и оставшись во вполне антологическом стихотворении, сойти с нее и вновь воевать...

3

Реальность дана тонко в колебании и твердости многообразия всего, и поэт, своеобразный сейсмограф бытия, видя особенно детали мира, вправляет их в строку, создавая ювелирные стихи:

Чуть колеблются листья клена,
Липы высятся над домами.
И растерянно-удивленно
Пароходик кричит в тумане.

Действительность, представленная Константином Ваншенкиным, очень живая: вся пронизанная токами плазмы естества и — согретая необыкновенной любовью, недаром Ваншенкину принадлежит мощное и размашистое признание: «Я люблю тебя, жизнь...»

Она — как объект...

Как прекрасная, всеобъемлющая и всех обнимающая женщина...

Музыка индивидуальности тонко вьется меж строк, нежно мерцая плотной предметностью мира:

Блеск моря, и скрипы причала,
И пляжей дневных теснота —
Все это внезапно пропало,
И сразу пришла темнота.

Исчезли цветы и тропинки, —
Лишь только огни да прибой...
Как будто умело картинки
Одну заменили другой.

Он составлял стихами огромный реестр жизни, фиксируя весь пантеон подробностей, собирая в емкости и пределы стихотворений все, чем одаривала или казнила жизнь:

Сiju утрами с чашкой синей
И носом чуть клюю.
Промчались праздники. Отныне
Жизнь входит в колею.

Ложимся рано, словно дети.
Глядит звезда в окно.
И завтракаем мы при свете, —
За окнами темно.

Казалось, практически в окно каждого стихотворения поэта заглядывала звезда... Многие стихи Ваншенкина логично ложились на музыку — логично, легко, ибо она жила в суммах строк, просто надо было слышать.

Много городов, неповторимостью пейзажей создающих особую линию в поэзии Ваншенкина:

Знаменит городок
Бесконечной стрелой бульвара,
Целой уймой садов
И осенним богатством базара.

Стих внешне прост, никаких завихрений, никогда усложненных придаточных; внешне прост и... нежен, строг в исполнении, тщательно отделан — столь тщательно, что отделка не ощущается, она будто естественное следствие поэтического дыхания.

И о войне Ваншенкин писал неожиданно, выбирая сложные ракурсы, исследуя психологические феномены людей, ввергнутых в бездну ратного труда:

Трус притворился храбрым на войне,
Поскольку трусам спуску не давали.
Он, бледный, в бой катился на броне,
Он вяло балагурил на привале.
Его всего крутило и трясло,
Когда мы попадали под бомбежку.
Но страх скрывал он тщательно и зло
И своего добился понемножку.

Поэт создал обширный свод, и лучей светового накала много исходит от него: для чутких душ.

4

Матрешка не упадет; Василия Теркина с ног не собьешь.

То есть — сбить можно, но поднимется, и не поздоровится обидчику, и внутренняя стойкость эта, метафизический алмазный стержень связаны в немалой степени с юмором:

Вот под первую бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался — не горюй:
Это — малый сабантуй.

Опытно — знали многие, сформулировал Твардовский, отчасти используя частушечный лад.

Смерти улыбнуться в лицо.

Трагедию воспринимать с усмешкой: мол, приходи — не возьмешь.

И — никакой гордости: просто вершит свою работу Теркин, хотя и... медаль бы можно было:

— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

Плазма солдатская густа: забывается, что каждый — бездна, мир глобальной неповторимости, масса сливается в огне и смерти, чтобы выжившие восторжествовали дыханием победы:

— Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.

Чеканный стих, перевитый лентой юмора: какие там девяноста, когда погибают молодыми...

Какие?

Такие: преодолеем войну, принесем победу, будем жить...

Неувядающий юмор великолепного Теркина и ныне стоически согревает сердце.

5

Железные дуги стихов изгибаются, чтобы остро тронуть души людей, войны не ведавших:

Я помню этот тяжкий бой:
В ту ночь два раненых солдата
Бежали тайно из санбата
К себе домой — к передовой.

Всю ночь гремел железный гром,
А утром тех солдат убило,
И рота их похоронила
На высоте, в песке сыром.
А вы, в невинной простоте,
Поете в тишине негромко
О «безымянной высоте
У незнакомого поселка».

Есть в поэзии Юрия Разумовского нечто непримиримое без темной энергии: энергия поэзии — подлинной — всегда светла; но жесткость видения ощущается четко, когда погружаешься в метафизические воды поэта.

Необыкновенность ощущений распускалась цветами строк. Только первый выстрел отзвучал,

Как второй вдогонку грянул, звóнок,
И внезапно заяц закричал,
Жалобно, как маленький ребенок.
Подбежал я, прямо мне в глаза
Он глядел, все понимая ясно,
И из глаз его одна слеза
Медленно скатилась и угасла.

Совершенная необыкновенность: как показан заяц этот, становящийся персонажем, как сияет бедная его, сирая слеза и сколько человеческого наполняет тугие строки поэта.

Они именно тугие: плотность постановки слов велика, они распределены таким образом, что не усомнишься в том, что найдены единственные.

Война, остающаяся навсегда, уйдет, но люди очерствеют, и поэт, почувствовав это, даст точный диагноз:

Бросает шторм судов стальные туши.
Не спят радисты моря и земли.
И чей-то крик: «Спасите наши души!» —
Уже зовет на помощь корабли.
Но мы-то не на море, а на суше.
Ни шторм не окружает нас, ни мгла —
И все ж кричим: «Спасите наши души!»
В буквальном смысле души — не тела...
Черствеет мир... И вот все глуше, глуше
Вздыхает совесть по ночам в тиши.

Острая и точная поэзия Разумовского бесконечно живая, страдающая, она выводит к свету: к тем высотам, к каким и должна вести правильная жизнь.

6

Восемь строчек, показывающих войну с точки зрения предельной правды и метафизической запредельности, восемь бьющих в бубен сознания строчек:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони ты, мой маленький.
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Много слов не требуется, чтобы показать обнаженно суть войны, ее нервы, проходящие через бездны сознания:

Воздух вздрогнул.
Выстрел.
Дым.
На старых деревьях обрублены сучья.
А я еще жив.
А я невредим.
Случай?

Деген писал сгустками шероховатой, наждачной, земляной правды, и его война была столь стереоскопически выпукла, что и не участвуя участвуешь как будто...

И гремели, плыли над миром восемь смертельных строк, пропущенные через все военные антологии...

7

Жесткая жуть войны, рассекающая сознание ветерана, приходит, наваливается, и оттого, что происходит все это в мозгу, действительность не меняется:

Я не участвую в войне,
война участвует во мне.
И пламя вечного огня
горит на скулах у меня.

Жесткой выделки стих Левитанского, бьющий в бубен читательского сознания, и блик огня, будто переходящий в сердце читателя...

Трагичная мелодия, раскрывающаяся бездной сгоревших, победных, великих лет:

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от тех снегов, от той зимы.

Ленты стихов Левитанского красиво развиваются на эсхатологическом ветру бытия...
Соль стоицизма сверкает в созвучиях:

Снегом времени нас заносит — все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.

Один за другим приближаемся к своим юбилеям,
белые, словно парусные корабли.
И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.
Пятидесяти орудий залпы неслышные.
Пятидесяти невидимых молний свет.

Белый цвет прекрасен: седина мудрости и терпения играет решающую роль в ходах жизненных шахмат.

Нами снимают кино, только режиссер неизвестен, поэтому «жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино!»

Черно-белое четче: мысль не распыляется на цвет и его оттенки, фокусируясь на основном.

А что основной делается безответность, не вина человека, тем более — поэта:

Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!

Не узнаем режиссера, не выясним, какой у него нрав, только догадки остаются.
И бьет в колокол война, вспыхивает в сознании, трепещет височной жилкой...

8

Вероятно, ставшее стихом осознание мелькнуло жестко и резко, расколола ум молнией предчувствия:

Видно, я умру в своей постели,
сердце остановится во сне,
потому что мимо пролетели
пули, предназначенные мне.

Стих Александра Ревича мускулист, подборист, сильной солевой выделки...

Ведь сколько раз могли убить!

Ведь сколько раз должны были убить!

Но — оставшийся в живых, проживший долгий век, погружается в видения возможного:

Мог бы я лежать с виском пробитым,
на винтовку уронив ладонь,
равнодушный к славе и обидам,
незапятнанный и молодой,
собственной кровью орошенный,
ненавистью первой обоженный,
подсеченный первою бедой.

Зафиксированное «20-е июня 1941» будет предложено мирным движением поезда, людская начинка которого еще не подозревает об уже почти заварившейся катастрофе:

В окно вагона ветер резкий
влетал, вздувая занавески,
равнина, оттеснив леса,
вращалась вроде колеса,
звенели ложечки в стаканах,
и слышались соседей пьяных
из коридора голоса,
стучали невпопад колеса,
им подпевал хриплоголосо
нестройный хор о том, как «спят
курганы темные», а следом —
«шумел камыш», и с этим бредом —
опять колеса невпопад.

Ревич внимателен к деталям, перебирает их, словно смакуя миги жизни...
Миги... детали... из них и состоит круто и кем-то слепленное бытие.
Поэма «Начало» развернется как будто против воли автора, ибо

Все это было так, и ни слова вычеркнуть не могу...
Я не хотел о войне,
я совсем не хотел о войне,
я хотел о весне,
а начал о раннем лете,
о сведенных бровях девятнадцати лет,
когда свисает с ремня пистолет,
когда в петлицах по кубарю,
когда в кармане бесплатный билет
в неизвестное
(я говорю
о билете,
проколотом безо всяких okazji
в воинской кассе).
Я не хотел о войне.

Вьются веревочно-закрученные строки, живописуется жизнь: та жизнь, когда феномен молодости подъедаем стремительным огнем, выплеснувшимся в девятнадцать авторских лет...

Так хотелось просто жить, и не хотелось — уже ветерану — о войне, но встает она в сердце, опалая седую голову метафизическим огнем, вновь и вновь собирает строки — о себе, кошмарной, преодоленной, победной...

9

Его скользкая по пахоте пехота словно альфа войны с постижением корней оной, если уж пришлось постигать; и мера поэтической силы, заложенная в стихотворение, вспыхивает пороховым зарядом:

Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,

когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.

В поэзии Михаила Кульчицкого пульсировали изначальные, давшие новую эру поэтического слова молнии Маяковского: но, пропущенные через фильтры и призмы дара поэта, обращались в ни на кого не похожие, сильные, страстные стихи:

И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

Пафос ярок и уместен, рифма свежа и необычна.

Он был советским романтиком, мечтателем, фантазером: он верил в порывы советского ветра, способного разметать старое — ради чудеснейшего нового:

Далекий друг! Года, и версты,
И стены книг библиотек
Нас разделяют. Шашкой Щорса
Врубиться в твой далекий век
Хочу. Чтоб, раскrojивши череп
Врагу последнему и через
Него перешагнув, рубя,
Стать первым другом для тебя.

Стихи его порой отливали синевато-прозрачной сталью словесного великолепия.

Прекрасного нового ему не суждено было увидеть, погибшему молодым на войне, успевшему высказаться, давшему точную формулу солдатской работы...

10

Бой был короткий...

Жизнь оказалась не многим длиннее: сильно окрашенная, воплотившаяся в слове жизнь Семена Гудзенко, выхлестнувшаяся стихами о войне такой мощи, что будут всегда завораживать:

Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Та проза войны, что показана в стихах предельно мускулистых и емких, как послесловие к Апокалипсису, начинает военную поэзию Гудзенко с избытком.

Силовые поля вибрируют, завораживая.

Резкий портрет «Победителя», будто молниями строк прорезавший реальность:

Мускулистый, плечистый,
стоит над ручьем.
И светило восходит
за правым плечом.

И солдатских погон
малиновый цвет
повторяет торжественно
майский рассвет.

Он стоит у вербы
на родном берегу,
трехлинейку привычно
прижав к сапогу.

Точный портрет поколения: хоть убирается возможная жалость, но солдат Великой войны и не должен особенно обладать подобным чувством — возможно, увы; тем не менее портрет предельно точен, выверен до деталей, сверкает сталью честности:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Поэт пережил войну, продолжая писать, расшифровывая собственную душу, раскрывая собственное сердце; он предчувствовал явление собственной смерти, бодро предсказав:

Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Почему-то думается, она не страшила поэта, столько раз встречавшегося с ней, менявшей обличья, в недрах войны и так живописавшего эти черные недра.

11

Ждать как тяжелый труд, как бытийная необходимость, как мощь душевного устройства; ибо если ожидание будет магнетично — вернется боец, живым вернется:

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Волшебный заговор Симонова, обладающий невероятной задушевностью и почти магической силой.

Вспыхивали пороховым огнем правды дороги Смоленщины, отражались они в сердцах читателей поколений; и снова необыкновенная задушевность согревала устройство стихов, изъятых из жизни настолько, будто и писала их сама жизнь:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

И возникал образ Руси: пространно-великий, осиянный тайным светом, не предназначенный для вражеской победы.

И сильно была в сердце «Смерть друга», сильно, со скрытым христианским мотивом:

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.
В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

В будущее развеваются ленты прекрасных военных стихов Симонова.

12

Убитый обретает речь, чтобы, впечатанный в смерть в болоте, свидетельствовать поколениям о себе и — через себя — о бесчисленных, безымянных, выполнивших предельно свою работу:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.

От него ничего не останется, чтобы осталось все — сиять поэзией пронзительной высоты и чистоты, поэзией, словно утверждающей: безымянных нет, и все человечество — единый организм, хотя не почувствовать это, тем более во время войны; тем не менее от обретшего голос убитого не осталось ничего, чтобы осталось все:

И во всем этом мире
До конца его дней —

Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.

И он, выполнивший солдатскую работу до конца, растворился в самом составе жизни, в химии ее и в таинственном свете, определяющем рост корней:

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.

Тут — метафизика высокого корня: все во всем: отражается, растворяется, живет. Стихотворение речет и о вечности жизни тоже. Горько звонит колокол произведения:

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые.
Нам — отрада одна,

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.

Тени рекут, вечно живые рекут, не видевшие победы тоже соединились с ней.

И рвется в небеса плач-крик-призыв хрестоматийного стихотворения; рвется на таком сгустке силы, что сколько ни пройдет времен, будет действовать на душу.

13

Конкретика войны — с расхлябанными дорогами и ежедневным вглядыванием в очи смерти — не исключает песни, напротив — она необходима как внутренний стимул, как звук светлой вести, поэтому:

Я был когда-то ротным запевалой,
В давным-давно минувшие года...
Вот мы с ученья топаем, бывало,
А с неба хлещет ведрами вода.

И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется — свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.

Странно, но Николай Старшинов оставлял определенную нежность и в военных ритмах своих стихов, полных плазмой жизни...

Даже здесь, в миге от смерти — и будет ли шанс выжить? — сквозит нежное имя — Россия:

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.

Гибли, мостя собой тропы победы.

Гибли, не докрикнув «ура!».

Поэт выжил, чтобы сказать за них лирическим натяжением-напряжением строк, поющих жизнь, несмотря ни на что...

И война, остающаяся навсегда, владеет сердцем, и сон может мерцать именно такой: с лежащим в сердце свинцом, который не преодолеть... хотя и окажется все сном, обращенным в прекрасные поэтические разводы:

Одолела меня бессонница,
Доконали кошмары-сны.
То мне снится, что мчится конница
С неприятельской стороны.

Оглушаемый канонадою,
Я, безусый еще юнец,
Улыбаясь, на землю падаю —
В самом сердце лежит свинец.

Тихая музыка поэзии Старшинова сильно входила в реальность: чтобы остаться в ней навсегда.

14

Четырех строчек достаточно, строчек, равных выстрелу: они поражают, они вмещаются в сознание невоевавшего с такой силой, что не выразишь собственным ощущениям:

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И сотни раз — во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Ей логичнее писать о любви: молодой, в облаке сияющих волос, победительно-красивой...

Ее военные стихи — словно иной полюс темы любви, будто своеобразная изнанка оной: черная, но конкретная; впрочем, и черный цвет расслаивается на множественную пестроту жизни:

Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

И Россия, так вмещенная в строку, сияет столь богатою радугою любви и света, что завораживает... именем своим.

Как завораживают стихи Друниной, сильно поднимающие неподъемным пластом военную тему к небесам правды.

15

Не участвовал в войне, будучи представителем того поколения, в чье детство война входила: голодом, осколками боли, постижением яви через вернувшихся отцов.

Роберт Рождественский не участвовал в войне: оттого вдвойне мощно раскачиваются, гудя колоколами, суммы его строк:

Вечная слава героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная слава героям!
Слава героям!
Слава!!
...Но зачем она им, эта слава, —
мертвым?
Для чего она им, эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им, эта слава, —
мертвым?..

Безымянным мертвым, продлившим бытие в живых.

Вопрос, не имеющий ответа; и веревочный, туго закрученный, но и ясно-простой стих поэта вьется, взыскуя его: сакрального ответа...

В том числе — и вопрос о смысле смерти полыхает, а на войне она глядит в очи всем — постоянно.

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно —
не мертвым!

Это надо —
живым!
Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе...
Есть великое право:
забывать о себе.

Самопожертвование возникает — тема тем, величие донкихотства...
Не мыслится в наши дни, набитые прагматической трухой эгоизма.
Возникает — в полный метафизический рост — образ маленького человека: с ответственностью ему атрибутикой:

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.

И рокочит раскаты войны, рвущие пространство жизни, и герой, прорастающий из незаметного служащего, становится прекрасным титаном:

...А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

Рождественский словно воплощался в чужие жизни, щедро расплескивая себя по стихам.

Он чувствовал пульс войны, той, в которой не мог участвовать, той, что бросала блики тяжелее свинца на его детство.

И он полно высказался о войне.

Полно, плотно, веско.

16

Военная тема сильно пульсировала в недрах разнообразного творчества Высоцкого и была исполнена столь живо, что казалось, сам участвовал в войне.

Или, будучи природным актером, перевоплощался в разных людей: в штрафников, к примеру...

Область их бытования была из особенно трудных:

Всего лишь час дают на артобстрел —
Всего лишь час пехоте передышки,
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, ну а кому — до «вышки».

За этот час не пишем ни строки —
Молись богам войны артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так — мы штрафники,
Нам не писать: «...считайте коммунистом».

Они — словно солдаты второго сорта, вдвойне живое мясо, вероятнее всего — им всем скоро не быть: оттого вибрируют таким напряжением-натяжением сквозные, туго сделанные строки.

Речь проста — интонация почти разговорная.

Речь высока — идущая от дара и искренности, завораживает она и без мощного голосового исполнения, завораживает чтением с листа...

Все становится не так: друг не вернулся из боя...

Стихи текут духовным воздухом, и голубое небо, оставшееся таким же, словно входит областью прозрачного непонимания в душу:

Почему все не так? Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только — он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.

Подробности бытования друга войдут в стихотворение, придавая ему дополнительное обаяние; и тайна смерти словно повернется другим боком, вечно неразгаданная, маняще-пугающая.

А вот — мертвое, вечно остающееся живым единство:

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

Мы рождаемся одиноко и так же умираем, и нам не осознать общечеловеческого единства, в котором и мертвые, тем более — павшие, такие же участники, как мы, продолжающие их.

Высоцкий чувствовал сильно — и столь же ярко и яростно выплескивал в мир стихи свои.

И он написал собственный портрет войны, не участвуя в ней.